

Дмитрий КУРИЛОВ

ИЗ ЖИЗНИ ОДНОНОГИХ

Жил да был у нас в деревне дядя Митя Ермаков. Фамилия его всем напоминала старинного покорителя Сибири, потому и была сокращена до полного подобия. И по могучности телосложения, и по повадкам, и по норову соответствовал Ермак легенде. Одна незадача: ногу на войне потерял, по самое колено. И привязывал теперь к обрубку допотопную деревяшку, помогая себе при ходьбе всем своим богатырским корпусом. Жена Ермака, тётя Нюра, поначалу много плакала, то ли от жалости, то ли от досады, что он такой нецелый вернулся. Да что плакать-то, когда у других и такого нет.

Сошлись они справно и даже детей заимели. Росли дети споро, ласковые, белоголовые, исполнительные. Два мальчика и одна девочка. «Наследство моё» — искренне радовался Ермак. Радовался и гордился — а и то сказать, немалое утешение для инвалида: родить и вырастить потомство.

Дымилась самокрутка, пела душа, поцокивала по деревне Ермакова деревяшка — в иные дни, когда провожал он деток в школу.

Но бывало и по-другому, когда напоздало на Ермака тоскливое сомнение в судьбе, в здоровье, в семейном счастье. Рыхлый и угрюмый, валялся он в постели, и ничто не могло его поднять. Пылилась под кроватью деревяшка. Кривился издёвочкой рот. Крупные слёзы текли по огрубелой коже. Тряслись и руки, и плечи, и подбородок. Становился он тогда глухонемым, уединившись в тишине домашней.

Не любил Ермак эти свои психозы. Стеснялся потом — пуще запоев. Бегал от одиночества на работу — то сторожем служил, то слесарил помаленьку, и, даже получив пособие от государства, то и дело помогал по хозяйству одиноким соседкам, а те посмеивались втихомолку: один мужик на всю улицу, да и тот одноногий. Подшучивали, но уважали: работал он справно, исправлял и водопровод, и электричество, и забор мог

подновить, и уборную поставить. И денег почти не брал — разве что выпить-закусить никогда не отказывался. А главное, после нескольких рюмок — поговорить как следует по душам.

Невесёлые получались беседы — хватало горя на всех, было, что рассказать да послушать, да песни протяжно попеть — про Россию, про славное море священный Байкал, про ямщика, бродягу и кочегара, про несчастливую жизнь и тоскливую смерть простого русского человека. Плакали вдовы солдатки, плакал краснорожий от выпивки Ермак. На дворе становилось темно и неуютно. Сиротливо и беззащитно ковылял он домой под мелким дождиком. И долго курил на крыльце.

А жена его, тётя Нюра, несмотря на все невзгоды, всегда была женщина статная, симпатичная, цветущая. И вот с некоторых пор стал Ермак наблюдать на её лице некое особое и загадочное выражение довольства — и так-то она была вся в соку, а тут с лица радость так и пышет. И с чего бы ей радоваться так особенно? Ничего же особенного вроде не произошло?

Задумался Ермак, уединился, подозревая: стало быть, произошло, да без мужниного участия. И до того он себя настропалил, что принялся изучать детские лица: свои ли, не посторонний ли тут потрудился? В сомнении своём дошёл Ермак до последней точки: стал следить за супругой. Да уж какой из него сыщик! — с деревянной культей далеко ли доковыляешь? Да и скрипу на всю округу, куры загодя шарахаются.

Пошёл тогда Ермак на маленькие хитрости: стал врать жене, что на работу идёт, в ночную, а сам спрячется в укромное место и наблюдает за домом.

Ночь сидел, две — выследил!

Характерной вороватой походкой, откидывая осторожную тень, подкрался к дому в сумерках молодой кучерявый мужчина, вроде бы слесарь из совхозных мастерских. Постучал в дверь неким замысловатым стуком — и немедленно был пропущен внутрь.

Дети, видимо, спали.

Закраснелся Ермак, застучала кровь в висках, заныл обрубок, натёртый деревяшкой. Хотел в ярости накинуться на изменницу с хахалем, да на полпути замер,

видя, как свет погас и юркнули две подлых тени на сеновал.

Наблюдая эти наглые события, затрясся Ермак лихорадочной тряской; юрко, стараясь не скрипеть, подскочил к дому, достал из клетки под крыльцом канистру, подпёр надёжной жердью дверь сарая и деловито зажурчал керосинчиком, обливая сарай со всех сторон. Отбросил шумно канистру, цыркнул спичкой — и вспыхнуло весело пламя, высокое, яркое, жуткое, чуть не обожгло лицо.

Шатаясь, как пьяный, метнулся прочь со двора, но далеко не убежал — свалился у соседского забора и зарыдал, кусая зубами мокрую траву. Жалостливо, со всхлипами и соплями.

Долго ли, коротко ли он так лежал — мимо уже бежали с вёдрами бабы, прогромыхала поджарая и убогая пожарная команда, выбралась наружу вся его семья; только вот слесарь молодой, чтоб никого не компрометировать, куда-то быстренько испарился задами огородов, в одних трусах, перепуганный и чёрный от копоти. А изменщица вышла вместе с детьми, и переодеться успела, и причесаться, и приумыться, белая вся, с лицом окаменевшим.

Села рядышком, приподняла ермакову горячую голову, положила к себе на колени, прижимая к животу и груди, и долго, нежно гладила.

Так и просидела молча до утра.

Так и уснули, обнявшись.

Дом почти не пострадал, а сарай вскоре Ермак выстроил новый. Дела на инвалида никто заводить не стал — порешили, несчастный случай. После этого случая стали дядя Митя с тётей Нюрой гораздо нежней друг к другу, только глаза в глаза смотреть долго привыкали — остатки обиды боялись увидеть. Ермак потом сам над собой посмеивался: эго, дурень, дом решил спалить, мститель-от бестолковый, сам же себе и насолил.

А слесарь молодой со страху той же осенью женился на другой, незамужней женщине. Была она вдовой и встретила его с распростёртыми объятиями.